



ТЕАТР ТЕНЕЙ

Фантастический рассказ

Бэйард Лодж, руководитель Спецгруппы № 3 под кодовым названием «Жизнь», раздраженно нахмурившись, смотрел на сидевшего напротив, по ту сторону стола, психолога Кента Форестера.

— Игру в Спектакль прерывать нельзя, — говорил Форестер. — Я не поручусь за последствия, если мы приостановим ее даже на один-два дня. Ведь это единственное, что нас объединяет, помогает нам сохранить рассудок и чувство юмора, отвлекает от более серьезных проблем.

— Знаю, — сказал Лодж. — Но теперь, когда умер Генри...

— Они поймут, — заверил его Форестер. — Я поговорю с ними. Не сомневаюсь, что они поймут.

— Безусловно, — согласился Лодж. — Все мы отлично знаем, как важен для нас этот Спектакль. Но нужно учесть и другое: одного из персонажей создал Генри.

Форестер кивнул.

— Я тоже об этом думал.

— И вы знаете какого?

Форестер отрицательно покачал головой.

— А я-то надеялся, что вам это известно, — проговорил Лодж. — Ведь вы уже давно пытаетесь отождествить каждого из нас с определенным персонажем.

Форестер смущенно улыбнулся.

— Я вас не виню, — сказал Лодж. — Мне понятно, почему вас так занимает этот вопрос.

— Разгадка намного упростила бы мою работу, — признал Форестер. — Она помогла бы мне по-настоящему разобраться в личности каждого члена нашей группы. Вот представьте, что какой-нибудь из персонажей вдруг начинает вести себя нелогично...

— Они все ведут себя нелогично, — перебил его Лодж. — Именно в этом их прелесть.

— Нелогичность их поведения естественна в допустимых пределах и обусловлена шутовским стилем Спектакля. Но ведь из самого шутовства можно вывести норму.

— И вам это удалось?

— График не получился, — ответил Форестер, — но зато я теперь недурно в этом ориентируюсь. Когда в знакомой нелогичности появляются отклонения, их не так уж трудно заметить.

— А они слышатся?

Форестер кивнул.

— И временами очень резкие. Вопрос, который нас с вами беспокоит, — то, как они мысленно расценивают...

— Назовем это не оценкой, а эмоциональным отношением, — сказал Лодж.

Оба с минуту молчали. Потом Форестер спросил:

— Вас не затруднит объяснить мне, почему вы так упорно относите это к сфере эмоций?

— Потому что их отношение к действительности определяется эмоциями, — ответил Лодж. — Это отношение, которое зародилось и созрело под влиянием нашего образа жизни, сформировалось в результате бесконечных размышлений и бесконечного самокопания. Такое отношение сугубо эмоционально и где-то граничит со слепой верой. В нем мало от разума. Мы предельно изолированы от внешнего мира. Нас слишком строго охраняют. Нам слишком часто твердят о важности нашей работы. Каждый из нас постоянно на взводе. Разве мы можем остаться нормальными людьми в таких сумасшедших условиях?

— Да еще эта ужасная ответственность, — ввернул Форестер. — Она же отравляет им существование.

— Ответственность лежит не на них.

— Да, но только если свести до минимума значение отдельных индивидов и каждого из них подменить всем человеческим родом. Впрочем, вероятно, даже при этом условии вопрос остается открытым, поскольку решаемая задача нераразрывно связана с проблемами человека как представителя биологического вида. Проблемами, которые из общих могут превратиться в личные. Вы только вообразите — сотворить...

— Ничего нового вы мне не скажете, — нетерпеливо прервал его Лодж. — Это я уже слышал неоднократно. «Вы только вообразите — сотворить человеческое существо в ином, нечеловеческом облике!»

— Причем именно человеческое существо, — подчеркнул Форестер. — В этом-то и соль, Бэйядр. Не в том, что мы пытаемся искусственно создать живые существа, а в том, что этими живыми существами должны быть люди в облике чудовищ. Такие монстры преследуют нас в кошмарных сновидениях, и посреди ночи просыпаешься с криком ужаса. Чудовище само по себе не страшно, если это не более чем чудовище. За несколько столетий эры освоения космоса мы привыкли к необычным формам жизни.

Лодж жестом остановил его.

— Вернемся к Спектаклю.

— Он нам необходим, — твердо заявил Форестер.

— Но ведь теперь будет одним персонажем меньше, — напомнил Лодж. — Сами знаете, чем это грозит. Отсутствие одного из персонажей может нарушить гармонию, ритм представления, привести к путанице и неразберихе. Лучше уж остаться без Спектакля, чем допустить его полный развал. Почему бы нам не сделать перерыв на несколько дней, а потом не начать все заново? Поставим новый Спектакль с новыми персонажами, а?

— Это исключено, — возразил Форестер. — По той причине,

что каждый из нас как бы сросся со своим персонажем и все персонажи стали органической частью своих создателей. Мы живем двойной жизнью, Бэйядр. Личности наши раздвоены. Так нужно, иначе мы погибнем. Так нужно, ибо никто из нас не в силах быть только самим собой.

— Вы хотите сказать, что игра в Спектакль страхует нас от безумия?

— Примерно. Впрочем, вы слишком сгущаете краски. Ведь при обычных обстоятельствах мы, несомненно, могли бы обойтись без Спектакля. Но у нас тут обстоятельства особые. Каждый герзается невероятно гипертрофированным чувством вины. Спектакль же дает выход эмоциям, разрядку нервного напряжения. Он служит темой для разговоров. Не будь его, мы посвящали бы наши вечера замыванию кровавых пятен вины. К тому же Спектакль вносит в нашу жизнь какое-то веселье — это наша дневная доза юмора, радости, искреннего смеха.

Лодж встал и принял мерить шагами комнату.

— Я назвал их отношение к действительности эмоциональным, — произнес он, — и настаиваю на своем определении. Это неумное, извращенное отношение, которое носит чисто эмоциональный характер. У них нет никаких оснований для комплекса вины. И тем не менее они его в себе культивируют, словно только так чувствуют себя людьми, словно это единственное, что связывает их с внешним миром, роднит с остальной частью человечества. Они приходят ко мне, делятся со мной своими переживаниями, как будто в моей власти что-либо изменить. Как будто я всесилен и могу, воздев руки, сказать им: «Что ж, раз так, свернем работу». Как будто у меня самого нет никаких служебных обязанностей. Они говорят, что мы посягаем на область священного, что сотворение жизни невозможно без некоего божественного вмешательства, что человек, который пытается совершить этот подвиг творения, святотатец и богохульник.

Но ведь на это есть ответ, и ответ, логически обоснованный, однако они этой логики не видят либо просто не желают прислушаться к голосу разума. Способен ли Человек совершить что-либо относящееся к категории божественного? Так вот, если в сотворении жизни участвует некая высшая сила, Человек, как бы он ни старался, не сумеет создать жизнь в своих лабораториях, не сумеет наладить серийное производство новых существ. Если же Человек, применив все свои знания, сможет при помощи известных ему химических соединений создать живую материю, если он благодаря высокому уровню науки и техники сотворит живую клетку, это докажет, что возникновение жизни не нуждается во вмешательстве свыше. А если мы получим такое доказательство, если мы будем знать, что в акте сотворения жизни нет ничего сверхъестественного, разве это доказательство не сорвет с него ореол святости?

— Они же ищут предлог, чтобы избавиться от этой работы, — сказал Форестер, пытаясь успокоить Лоджа. — Возможно, кое-кто из них и верит в это, но остальных просто пугает ответственность — я имею в виду моральную ответственность. Они начинают прикидывать, каково это — жить под ее бре-

менем до конца дней. Почти то же самое происходило тысячу лет назад, когда люди открыли атомную энергию и впервые расщепили атом. Они потеряли сон. По ночам они пробуждались с криком ужаса. Они понимали значение своего открытия, понимали, что выпускают на волю страшную силу. А мы ведь тоже отдаем себе отчет, к каким результатам может привести наша работа.

Лодж вернулся к столу и сел.

— Дайте мне подумать, Кент, — проговорил он. — Может, вы и правы. Я еще во многом не разобрался.

— До скорой встречи, — сказал Форестер.

Уходя, он мягко прикрыл за собой дверь.

Спектакль был растянутым до бесконечности фарсом — вариант «Старого Красного Амбара», в котором поразительная нелепость и комизм ситуаций преступили все мыслимые границы. В этой фантасмагории было что-то от Волшебной Страны Оз*, какой-то нечеловеческий, чужеродный порыв; одна сцена сменяла другую, и представлению не было видно конца.

Если поселить небольшую группу людей на астероиде, который круглосуточно охраняется космическим патрулем, если предоставить каждому из этих людей лабораторию и объяснить, какую им нужно решить проблему, если заставить их день за днем биться над этим решением, то одновременно необходимо принять какие-то меры, чтобы они не сошли с ума.

Тут могут пригодиться музыка, книги, кинофильмы, разнообразные игры, танцы по вечерам — словом, весь старый арсенал развлечений, которые на протяжении тысячелетия давали человечеству забвение от горестей и забот.

Но наступает момент, когда сила воздействия этих развлечений на психику людей истощается, когда их уже недостаточно.

Тогда начинают искать что-нибудь принципиально новое, еще не приевшееся — игру, в которой смогли бы принять участие все члены такой изолированной группы и которая настолько увлекла бы их, что они на какое-то время отключились бы от действительности, забывая, кто они и ради чего работают.

Так появилась на свет игра в Спектакль.

Давным-давно, много-много лет назад в избах крестьян Европы и фермерских домах первых поселенцев Северной Америки глава семьи по вечерам устраивал для детей театр теней. Он ставил на стол лампу или свечу, усаживался между этим столом и голой стеной и принимался двигать руками в воздухе, то так, то сяк складывая пальцы, и на стене возникали теми кроликов, слонов, лошадей, людей... В течение часа, а то и дольше на стене шло представление: попеременно появлялись то кролик, щиплющий клевер, то слон, размахивающий хоботом и шевелящий ушами, то волк, воющий на вершине холма. Дети сидели затаив дыхание, очарованные этим сказочным зрелищем.

* Волшебная Страна Оз — вымышленная страна из сказки американского писателя Ф. Баума «Мудрец из Страны Оз». (Прим. перев.)

Позже, когда появились кино и телевидение, комиксы и дешевые пластические игрушки, которые можно было приобрести в любой мелочной лавке, то тени утратили свое очарование, и их никто больше не показывал. Но сейчас речь не об этом.

Если взять принцип театра теней и приложить к нему знания, накопленные Человеком за истекшее с той поры тысячелетие, получится игра в Спектакль.

Неизвестно, знал ли что-нибудь о театре теней тот давно забытый гений, которому впервые пришла в голову идея этой игры, но в основу ее лег тот же принцип. Изменился лишь способ проецирования изображения: мозг Человека заменил его руки.

А плоские черно-белые кролики и слоны уступили место множеству иных, цветных и объемных существ и предметов, разнообразие которых всецело зависело от богатства человеческого воображения (ведь куда легче создать что-либо в мыслях, чем руками).

Экран с ячейками памяти, неисчислимymi рядами трубок звукопроизводящего устройства, селекторами цвета, антеннами приемников телепатии и огромным количеством других приборов был триумфом электронной техники, но он играл пассивную роль, потому что представление, которое на нем шло, складывалось из мысленных образов, возникавших в мозгу собравшихся перед экраном зрителей. Зрители сами придумывали персонажей Спектакля, сами мысленно управляли всеми их действиями, сами сочиняли для своих персонажей реплики. Зрители, и только зрители, своим целенаправленным мышлением сообща оформляли каждую сцену, создавая в уме декорации, задники, реквизит.

На первых порах Спектакль был путанным и бессистемным; еще не оформленные уродливые персонажи бесполково сутились на экране, из-за неопытности зрителей действовали вразнобой, были безликими и смахивали на карикатуры. На первых порах декорации, задники и реквизит были нелепым, бредовым похождением рассеянного, скачащего мышления зрителей. Иногда на небе одновременно сияли три луны, причем в разных фазах. Бывало и так, что на одной половине экрана шел снег, а на другой под палящими лучами солнца зеленели пальмы.

Но со временем представление усовершенствовалось. Персонажи приняли пристойный вид, увеличились до нормальных размеров, сохранив при этом все конечности, обрели индивидуальность: из примитивных полукарикатур постепенно вылепились живые сложные образы. И если вначале декорации и реквизит были плодом отчаянных попыток девяти разобщенных умов чем-нибудь заполнить на экране пустые места, то теперь зрители научились мыслить согласованно и, оформляя Спектакль, совместными усилиями добивались единства стиля и действия постановки.

Со временем люди стали так умело разыгрывать представление, что оно шло гладко, без срывов, хотя ни один из зрителей — авторов Спектакля — никогда не мог предугадать, какой оборот примут события на экране в следующую секунду.

Именно это и делало игру в Спектакль такой захватываю-

щей. Тот или иной персонаж каким-нибудь поступком или фразой вдруг давал действию иное направление, и людям — создателям и руководителям других персонажей — приходилось с ходу придумывать для них новый текст, соответствующий внезапному изменению сюжета, и перстраивать их поведение.

В некотором смысле это превратилось в состязание интеллектов: каждый участник игры то старался выдвинуть своего персонажа на первый план, то, наоборот, заставлял его стушеваться, чтобы оградить от возможных неприятностей. Спектакль стал чем-то вроде пескончаемой шахматной партии, в которой у каждого игрока было восемь противников.

И никто, конечно, не знал, кому какой принадлежит персонаж. Попытки разгадать, кто именно из девяти стоит за тем или иным персонажем, приняли форму забавной игры, дали пищу для шуток и острот, и все это шло на пользу, ибо назначение Спектакля как раз заключалось в том, чтобы отвлечь мысли его участников от повседневной работы и тревог.

Каждый вечер после обеда девять человек собирались в специально оборудованном зале, оживал экран, и девять персонажей — Беззащитная Сиротка, Усатый Злодей, Приличный Молодой Человек, Красивая Стерва, Инопланетное Чудовище и другие — начинали играть свои роли и подавать реплики.

Их было девять — девять человек и девять персонажей.

Теперь же осталось восемь человек, потому что Генри Гриффис рухнул мертвым на свой лабораторный стол, сжимая в руке записную книжку.

А в Спектакле соответственно должно было стать одним персонажем меньше, персонажем, находившимся в полной зависимости от мышления человека, которого уже не было в живых.

«Интересно, — подумал Лодж, — какое из действующих лиц исчезнет? Ясно, что не Беззащитная Сиротка — образ, который совершенно не увязывался с личностью Генри. Скорей им может оказаться Приличный Молодой Человек, либо Нищий Философ, либо Деревенский Щеголь.

Минуточку, — остановил себя Лодж. — При чем тут Деревенский Щеголь? Ведь Деревенский Щеголь — это я».

Он сидел за столом, лениво размышляя над тем, кому какой соответствует персонаж. Очень похоже, что Красивую Стерву придумала Сью Лоуренс: трудно себе представить более противоположные натуры, чем эта Стерва и собранная, деловитая Сью. Он вспомнил, как, заподозрив это, однажды отпустил в адрес Сью шпильку, после чего она несколько дней держалась с ним очень холодно.

Форестер утверждает, что отказываться от Спектакля нельзя, и, возможно, он прав. Вполне вероятно, что они приспособятся к новому раскладу. Видит бог, им пора уже приспособливаться к любым переменам, разыгрывая этот Спектакль из вечера в вечер на протяжении стольких месяцев.

Да и само-то представление не лучше ярмарочного балагана. Шутовство ради шутовства. Действие даже не эпизодично, потому что еще ни разу не представился случай довести хоть один эпизод до конца. Стоит начать обыгрывать какую-нибудь

ситуацию, как кто-нибудь из них вставляет в колесо палку, а это моментально прерывает едва наметившуюся сюжетную линию, и дальше действие уже разворачивается в ином направлении.

При таком положении вещей, подумал Лодж, исчезновение одного-единственного персонажа вроде бы не должно сбить их с толку.

Он встал из-за стола и, подойдя к огромному окну, устремил задумчивый взгляд на лишенный растительности, пустынnyй и мрачный ландшафт. Под ним на черной скалистой поверхности астероида, уходя вдаль, блестели в свете звезд купола лабораторий. На севере над зубчатым краем горизонта просветлево небо — занималась заря, и скоро тусклое, размером с наручные часы солнце вспыхивает над этим жалким обломком скалы и уронит на него свои слабые лучи.

«Все обстояло бы по-другому, — подумал он, — если б нас оставили на Земле, где мы изо дня в день не варились бы в одном котле, а общались бы с широким кругом людей. Там мы не ели бы себя поедом, общение с другими людьми заглушило бы в нас комплекс вины.

Но контакты с теми, кто не причастен к этой работе, неизбежно дали бы повод для всякого рода слухов, призвали бы к утечке информации, а в нашем деле это недопустимо».

Ведь если б население Земли узнало, что они создают, точнее — пытаются создать, это вызвало бы такую бурю протеста, что, возможно, пришлось бы отказаться от осуществления этого замысла.

«Даже здесь, — подумал Лодж, — даже здесь кое-кого гложут сомнения и страхи.

Человеческое существо должно ходить на двух ногах, иметь две руки, пару глаз, пару ушей, один нос, один рот, не быть чрезмерно волосатым. И оно должно именно ходить, а не прыгать, ползать или катиться.

Искажение человеческого облика, говорят они, надругательство над человеческим достоинством; каким бы могуществом ни обладал Человек, в своей самонадеянности он замахнулся на то, что ему не по плечу».

Раздался стук в дверь. Лодж обернулся.

— Войдите, — громко сказал он.

Дверь открылась. На пороге стояла доктор Сьюзен Лоуренс, флегматичная, бесцветная, аляповато одетая женщина с квадратным лицом, выражавшим твердость характера и упрямство.

Она увидела его не сразу и, стоя на пороге, вертела головой по сторонам, пытаясь отыскать его в полуутяме комнаты.

— Идите сюда, Сью, — позвал он.

Она прикрыла дверь, пересекла комнату и, остановившись рядом с ним, молча уставилась на пейзаж за окном.

Наконец она заговорила.

— Он ничем не был болен, Бэйядр. У него не обнаружено никаких признаков заболевания. Хотела бы я знать...

Она умолкла, и Лодж почти физически ощутил, как беспросветно мрачны ее мысли.

— Достаточно скверно, — произнесла она, — когда человек умирает от точно диагностированного заболевания. И все же

не так страшно терять людей после того, как сделаешь все возможное, чтобы их спасти. Но Генри нельзя было помочь. Он скончался мгновенно. Он был мертв еще до того, как удалился об стол.

— Вы обследовали его?

Она кивнула.

— Я поместила его в анализатор. У меня на руках три катушки пленок с записью результатов обследования. Я их просмотрю... попозже. Но могу поклясться, что он был совершенно здоров.

Сью крепко сжала его руку своими короткими толстыми пальцами.

— Он не захотел больше жить, — проговорила она. — Ему стало невыносимо страшно. Он решил, что близок к какому-то открытию, и его охватил смертельный ужас перед тем, что он может открыть.

— Мы должны все это выяснить, Сью.

— А для чего? — спросила она. — Для того, чтобы научиться создавать людей, способных жить на планетах, условия на которых непригодны для существования человека в его естественном облике? Чтобы научиться вкладывать разум и душу человека в тело чудовища, которое изведется от ненависти к самому себе?..

— Оно не будет себя ненавидеть, — возразил Лодж. — Ваша точка зрения основана на антропоморфизме. Никакое живое существо никогда не кажется самому себе уродливым, потому что оно, не размышляя, принимает себя таким, каково оно есть. Чем мы можем доказать, что человек доволен собой больше, чем насекомое или жаба?

— К чему все это? — не унималась она. — Нам же не нужны те планеты. Сейчас планет у нас навалом — куда больше, чем мы в состоянии колонизовать. Одних только планет земного типа хватит на несколько столетий. Хорошо, если удастся их все колонизовать — даже не освоить полностью, а хотя бы заселить людьми — в ближайшие пятьсот лет.

— Мы не имеем права рисковать, — сказал Лодж. — Пока у нас еще есть время, мы должны сделать все, чтобы стать хозяевами положения. Подобных проблем не возникало, когда мы жили только на Земле, где чувствовали себя в относительной безопасности. Но обстоятельства изменились. Мы проникли в космос, стали летать к звездам. Где-то в глубинах вселенной есть другие цивилизации, другие мыслящие существа. Иначе и быть не может. И когда-нибудь мы с ними встретимся. На этот-то случай нам необходимо укрепить свои позиции.

— И для укрепления наших позиций мы будем основывать колонии человеко-чудовищ. Я понимаю, Бэйяд, все хитроумие этого плана. Признаю, что мы сумеем сконструировать особые тела, мышцы, кости, первые волокна, органы коммуникации с учетом специфики условий на тех планетах, где нормальное человеческое существо не проживет и минуты. Допустим, мы обладаем высокоразвитым интеллектом и прекрасно знаем свое дело, но этого ведь недостаточно, чтобы вдохнуть в такие тела жизнь. Жизнь — это нечто большее, чем просто колloid из

комбинации определенных элементов. Нечто совершенно иное, непостижимое, скрытое от нас за семью печатями.

— А мы все-таки дерзнем, — сказал Лодж.

— Первоклассных специалистов вы превратите в душевно-больных, — взорвавшись продолжала она. — Кое-кого из них вы убьете — не руками, конечно, а своим упорством. Вы будете держать их в запертых годами, а чтобы они протянули побольше, одурманите их этим Спектаклем. Но тайну сотворения жизни вы не раскроете, ибо это вне человеческих возможностей.

Она задыхалась от ярости.

— Хотите пари? — рассмеявшись, спросил он.

Она стремительно повернулась к нему лицом.

— Бывают моменты, — произнесла она, — когда я жалею, что принесла присягу. Крупица цианистого калия...

Лодж взял ее за руку.

— Давайте лучше выпьем, — предложил он. — Убить меня вы всегда успеете.

К обеду они переоделись.

Так было заведено. Они всегда переодевались к обеду.

Это, как Спектакль, входило в постепенносложившийся ритуал, который они строго соблюдали, чтобы не сойти с ума, не забыть, что они цивилизованные люди, а не только беспощадные охотники за знаниями, пытающиеся решить проблему, которую любой из них с радостью предпочел бы не решить.

Они отложили в сторону скальпели и прочие инструменты, зачехлили микроскопы; они аккуратно расставили по местам пробирки с культурами, убрали в шкафы сосуды с физиологическим раствором, в котором хранились препараты. Они сняли передники, вышли из лабораторий и закрыли за собой двери. И на несколько часов забыли — или постарались забыть, — кто они и над чем работают.

Они переоделись к обеду и собирались в так называемой гостиной, где для них были приготовлены коктейли, а потом перешли в столовую, делая вид, что они самые обыкновенные человеческие существа, не более... и не менее.

На столе — посуда из изысканного фарфора и тончайшего стекла, цветы, горящие свечи. Они начали с легкой закуски, за которой последовали разнообразные блюда, подававшиеся в строгой очередности специальными запрограммированными роботами с безупречными манерами; на десерт был сыр, фрукты и коньяк, а для любителей еще и сигары.

Они беседовали, как беседовали за каждым обедом, — пустая светская болтовня беззаботных, легкомысленных людей. То был час, когда они глушили в себе чувство вины, смывали с души ее кровавые следы.

Лодж про себя отметил, что сегодня они не в силах выбросить из сознания то, что произошло, потому что говорили они о Генри Гриффе и его внезапной смерти, хотя на их напряженных лицах застыло выражение деланного спокойствия. Генри был человеком своеобразным, его обуревали слишком силь-



Рисунки В. КОЛТУНОВА

ные страсти, и никто из них так до конца и не понял его. Но они были о нем высокого мнения, и, хотя роботы постарались расставить приборы с таким расчетом, чтобы его отсутствие за столом прошло незамеченным, всех ни на минуту не покидало острое ощущение утраты.

— Мы отправим Генри домой? — спросил Лодж Честер Сиффорд.

Лодж кивнул.

— Попросим один из патрульных кораблей забрать его и доставить на Землю. Здесь же состоится только краткая панихида.

— А кто выступит с речью?

— Скорей всего Крейвен. Он сблизился с Генри больше, чем остальные. Я уже говорил с ним. Он скажет в его память несколько слов.

— У Генри остались на Земле родственники? Он ведь не любил о себе распространяться.

— Какие-то племянники и племянницы. А может, еще брат или сестра. Вот, пожалуй, и все.

Тут подал голос Хью Мэйтленд:

— Как я понимаю, Спектакль мы не прервем.

— Верно, — подтвердил Лодж. — Так советует Кент, и я с ним согласен. Уж Кент-то знает, что для нас лучше.

— Да, это по его части. Он на своем деле собаку съел, — вставил Сиффорд.

— Безусловно, — сказал Мэйтленд. — Обычно психологи держатся особняком. Страйт из себя этакую воплощенную совесть. А у Кента другая система.

— Он ведет себя, как священник, — заявил Сиффорд. — Самый натуральный священник, черт его побери!

Слева от Лоджа сидела Элен Грей, и он видел, что она ни с кем не разговаривает, вперив неподвижный взгляд в вазу с розами, которая сегодня украшала центр стола.

«Ей нелегко, — подумал Лодж. — Ведь она первая увидела мертвого Генри и, считая, что он заснул, потрясла его за плечо, чтобы разбудить».

На противоположном конце стола, рядом с Форестером, сидела Элис Пейдж. В этот вечер на нее напала несвойственная ей болтливость; она была женщиной несколько странной, замкнутой, а в ее неброской красоте было что-то неуловимо печальное. Сейчас она придвигнулась к Кенту Форестеру и возбужденно что-то доказывала ему, понизив голос, чтобы не услышали остальные, а Форестер терпеливо внимал ей, скрывая под маской спокойствия тревогу.

«Они расстроены, — подумал Лодж, — причем гораздо глубже, чем я предполагал. Расстроены, взбудоражены и в любой момент могут потерять самоконтроль».

Смерть Генри потрясла их гораздо сильней, чем ему казалось.

Пусть Генри и не отличался личным обаянием, он все же был одним из членов их маленькой группы. «Одним из них, — подумал Лодж. — А почему не одним из нас?» Но так сложилось с самого начала, не в пример Форестеру, самое большое достижение которого заключалось в том, что он сумел стать

одним из них. Лодж должен был избегать панибратства, проявлять сдержанность, соблюдая при общении с ними едва заметную дистанцию холодного отчуждения — единственное в этих условиях средство поддержать авторитет власти и предотвратить возможное неповиновение, а это для его работы было весьма важно.

— Генри был близок к какому-то открытию, — произнес Сиффорд.

— Я уже слышал это от Сью.

— Он умер в тот момент, когда записывал что-то в блокнот, — продолжал Сиффорд. — А вдруг это...

— Мы просмотрим его записи, — пообещал Лодж. — Все вместе. Завтра или послезавтра.

Мэйтленд покачал головой.

— Нам никогда не сделать это открытие, Бэйядр. Мы пользуемся не той методикой, работаем не в том направлении. Нам необходимо подойти к этой проблеме по-новому.

— А как? — взвился Сиффорд.

— Не знаю, — сказал Мэйтленд. — Если бы я знал...

— Джентльмены, — вмешался Лодж.

— Виноват, — извинился Сиффорд. — У меня что-то пошаливают нервы.

Лодж вспомнил, как Сьюзен Лоуренс, стоя рядом с ним у окна и глядя на безжизненную унылую поверхность кувыркающегося в пространстве обломка скалы, на котором они ютились, произнесла: «Он не захотел больше жить. Он боялся жить».

Что она имела в виду? То, что Генри Грифис умер от страха? Что он умер потому, что боялся жить?

Возможно ли, чтобы психосоматический синдром послужил причиной смерти?

Когда они перешли в театральный зал, атмосфера не разряжалась, хотя все, проявляя незаурядную силу воли, вроде бы держались легко и свободно. Они разговаривали о пустяках и притворялись, будто их ничто не тревожит, а Мэйтленд даже сделал попытку попутить, но его шутка пришла не к месту и в корчах испустила дух, раздавленная фальшивым хохотом, которым на нее отреагировали остальные.

«Кент ошибся», — подумал Лодж, чувствуя, как его захлестывает ужас. — В этой затее — смертельный заряд психологической взрывчатки». Достаточно незначительного толчка, и начнется цепная реакция, которая может привести к распаду их группы. А если группа распадется, перестанет существовать как единое целое, пойдут прахом все труды, на которые было потрачено столько лет: долгие годы обучения, месяцы, понадобившиеся для выработки привычки к совместной работе, не говоря уже о постоянной, ни на миг не прекращающейся борьбе за то, чтобы они пребывали в хорошем настроении и не перегрызли друг другу глотки. Исчезнет сплачивающая их вера в силу и возможности коллектива, которая за эти месяцы постепенно пришла на смену индивидуализму; сломается отлично налаженный механизм спокойного сотрудничества и согласованности действий; обесценится значительная часть уже проделанной ими работы, ибо никакие другие ученыe, пусть самые что ни

на есть квалифицированные, не смогут с ходу принять эстафету своих предшественников, даже если в их распоряжении будут все материалы с результатами исследований, проведенных теми, кто работал до них.

Одну из стен помещения занимал вогнутый экран, перед которым тянулись узкие, ярко освещенные подмостки.

А за экраном, скрытые от глаз, причудливо переплетались трубки, стояли генераторы, находились звуковоспроизводящее устройство и компьютеры — чудо техники, воплощавшее мысли и волю людей в зримые, движущиеся образы, которые сейчас возникнут на экране и заживут своей жизнью. «Марионетки», — подумал Лодж, — но марионетки, созданные человеческой мыслью и обладающие странной пугающей человечностью, которой всегда недостает вырезанным из дерева фигурами».

И разница, конечно, объяснялась разницей между возможностями мозга человека и его рук: как бы ни был остор нож и искусна рука талантливого мастера, вырезанная им из дерева кукла своей достоверностью и точностью воспроизведения мельчайших деталей не сравнится с человеческим существом, которое создано в воображении.

Когда-то Человек творил только руками, раскалывал и обтесывал куски кремня, делал луки, стрелы, предметы обихода; позже он изобрел машины, ставшие как бы придатками его рук, и эти машины начали выпускать изделия, создать которые вручную было невозможно; теперь же Человек творил не руками и не машинами, придатками своих рук, а мыслью, хотя ему и приходилось пользоваться разнообразной сложной аппаратурой, с помощью которой материализовалась деятельность его мозга.

«Наступит день, — подумал Лодж, — когда единственным соиздателем станет человеческая мысль — без посредничества рук и машин».

Экран замерцал, и на нем появилось дерево, потом еще одно дерево, скамья, пруд с утками; на втором плане какая-то статуя, а вдалеке, полускрытые ветвями деревьев, простирали неясные контуры высоченных городских зданий.

Как раз на этой сцене они вчера вечером прервали представление. Персонажи Спектакля решили устроить пикник в городском парке, пикник, который почти наверняка просуществует считанные мгновения, пока кому-нибудь не взбредет в голову превратить его во что-то другое.

«Но, быть может, сегодня пикник останется пикником, — с надеждой подумал Лодж, — и они доведут эту сцену до конца, будут разыгрывать Спектакль с прохладцей, без обычного азарта, обуздают свою фантазию. Именно сегодня недопустимы никакие неожиданные повороты действия, никакие потрясения, ведь для того, чтобы помочь персонажу выбраться из лабиринта нелепейших ситуаций, которые возникают при внезапном изменении сюжета, необходимо значительное умственное напряжение, а это может в такой обстановке привести к тяжелым психическим нарушениям».

Так получилось, что сегодня будет одним персонажем меньше, и многое зависит от того, какой из них будет отсутствовать.

Пока что сцена пустовала, напоминая тщательно выписан-

ный маслом пейзаж в блеклых тонах с изображением уголка весеннего парка.

Почему они не начинают? Чего ждут?

Они ведь позабылись оформить сцену. Так чего же они ждут?

Лодж создал в воображении образ своего персонажа и вывел его на экран, сконцентрировав мысль на его неуклюжей походке, соломинке, торчащей изо рта, на заросшем курчавыми волосами затылке.

Должен же кто-нибудь начать. Неважно кто...

Деревенский Щеголь засуетился и бросился назад, исчезнув с экрана. Через секунду он появился снова, неся большую плетеную корзину с крышкой.

— А про корзину-то я и забыл, — сообщил он с глуповатой застенчивостью сельского жителя.

В темноте зала кто-то хихикнул.

Слава богу! Кажется, все идет нормально. Ну, выходите же, кто там еще остался!

На экране появился Ниций Философ — в высшей степени респектабельный мужчина без единой положительной черточки в характере: его импозантная внешность, гордая осанка сенатора, пестрый жилет и длинные седые локоны были ширмой, за которой скрывался попрошайка, бездельник и редкостный вранец.

— Друг мой, — произнес он. — Мой добрый друг.

— Никакой я те не друг, — заявил Деревенский Щеголь. — Вот отдашь мне триста долларов, тогда поглядим.

Да выходите же, наконец, кто там еще остался!

Появились Красивая Стерва и Приличный Молодой Человек, которого с минуты на минуту должно было постичь ужасное разочарование.

Деревенский Щеголь присел на карточки посреди лужайки и, открыв корзину, начал извлекать из нее еду: окорок, индейку, сыр, блюдо фруктового желе, банку маринованной сельди, термос.

Красивая Стерва кокетливо сделала ему глазки и заиграла бедрами. Деревенский Щеголь вспыхнул и, быстро пригнув голову, спрятал лицо.

Кент крикнул из зрительного зала:

— Так держать! Сгуби его!

Все расхохотались.

Это обязательно должно войти в привычную колею. Все образуется.

Если зрители начнут перебрасываться шутками с действующими лицами Спектакля, дело непременно пойдет на лад.

— А это ты недурственно придумал, лапуния, — отозвалась Красивая Стерва. — Заметапо.

Она направилась к Щеголю.

Щеголь, все еще не поднимая головы, продолжал вынимать из корзины всевозможную снедь — в таком количестве, что она едва ли уместилась бы в десяти подобных корзинах.

Круги копченой колбасы, горы шницелей, холмы конфет... И под конец он вытащил из корзины бриллиантовое ожерелье.

Красивая Стерва, взвизгнув от восторга, коршуном набросилась на ожерелье.

Между тем Ницкий Философ оторвал от индейки ножку и то откусывал от нее куски, то размахивал ею в воздухе, чтобы усилить впечатление от высокопарных цветистых фраз, которые неудержимым потоком лились из его уст.

— Друзья мои, — ораторствовал он, уписывая индейку. — Друзья мои, как это уместно и естественно... Я повторяю, сэр, как это уместно и естественно, когда задушевные друзья встречаются в такой поистине дивный весенний день, чтобы в обществе друг друга насладиться общением с ликующей природой, пайдя для своей встречи даже в самом сердце этого бессердечного города столь уединенный и тихий уголок...

Дай ему волю, и он мог бы тянуть резину до бесконечности. Но сейчас, учитывая напряженность обстановки, необходимо было любым способом остановить это словоблудие.

Кто-то выпустил в пруд миниатюрного, но весьма резвого кита, своими повадками больше напоминавшего дельфина; этот кит то и дело выныривал из воды, описывал в воздухе изящную дугу, потом пенадолго скрывался под поверхностью, распугав мирно плававших на пруду уток.

Стараясь не привлекать к себе внимания, на экран выползло Инопланетное Чудовище и спряталось за дерево. Сразу было видно, что это не к добру.

— Берегитесь! — крикнул кто-то из зрителей, но актеры и ухом не повели. Иногда они проявляли невероятную тупость.

На экран под руку с Усатым Злодеем вышла Беззащитная Сиротка (и это тоже не предвещало ничего хорошего), а следом за ними шествовал Представитель Внеземной Дружественной Цивилизации.

— Где же наша Прелестная Девушка? — спросил Усатый Злодей. — Все вроде уже в сборе, только ее и не хватает.

— Еще заявится, — сказал Деревенский Щеголь. — Давеча видал я, как она на углу в салуне джин хлещет...

Философ прервал свою витиеватую речь на полуфразе, индюшачья ножка замерла в воздухе. Его серебристые волосы эффектно стали дыбом, и он круто повернулся к Деревенскому Щеголю.

— Вы хам, сэр! — возгласил он. — Сказать такое может только самый последний хам!

— А мне все одно, — заявил Щеголь. — Мели себе, если хошь, ведь правда-то моя, а не твоя.

— Отвяжись от него, — заверещала Красивая Стерва, лаская пальцами бриллиантовое ожерелье. — Не смей обзывать моего дружка хамом.

— Полноте, К. С., — вмешался Приличный Молодой Человек. — Советую вам держаться от них подальше.

— Заткни пасть, — быстро обернувшись к нему, отрезала она. — Ты лицемерное трепло. Не тебе меня учить. По-твоему, я недостойна, чтобы меня моим законным именем называли? Хватит с меня одних инициалов, так? Шут гороховый, шантажист хрипатель! А ну отваливай, да поживей!

Философ не спеша выступил вперед, нагнулся и взмахнул

рукой. Полуобъеденная индюшачья пожка заехала Щеголю в челюсть.

Схватив жареного гуся, Щеголь медленно поднялся во весь рост.

— Ах, вот ты как... — процедил он.

И запустил в Философа гусем. Гусь ударился о пестрый жильт, забрызгав его жиром.

«О господи, — подумал Лодж. — Теперь наверняка быть беде! Почему Философ так странно повел себя? Почему они хотя бы сегодня, один-единственный раз, не смогли удержаться от того, чтобы не превратить простой дружеский пикник черт знает во что? Почему тот, кто создал Философа и руководит всеми его поступками, заставил его замахнуться этой индюшачьей ножкой?»

И почему он, Бэйядр Лодж, внушил Щеголю, чтобы тот швырнул гуся?

И, уже задавая себе этот вопрос, Лодж похолодел, а когда в его сознании оформился ответ, у него возникло чувство, будто чья-то рука сдавила ему внутренности.

Он понял, что вообще этого не делал.

Он не заставлял Щеголя бросаться гусем. И хотя в тот момент, когда Щеголь получил щеччину, в нем вспыхнуло возмущение и злоба, он мысленно не приказал своему персонажу нанести ответный удар.

Он уже не так внимательно следил за действием: сознание его раздвоилось, и половина мыслей, одна другую опровергая, была поглощена поисками объяснения того, что сейчас произошло.

Фокусы аппаратуры. Это она заставила Щеголя швырнуть гуся — ведь сложнейшие механизмы, установленные за экраном, не хуже человека знали, какую реакцию может вызвать удар в лицо. Машина сработала автоматически, не дожидаясь, пока получит соответствующий мысленный приказ... по-видимому, не сомневаясь, каково будет его содержание.

Это же естественно, доказывала одна половина его сознания другой, что машине известно, как реагирует человек на тот или иной раздражитель, и еще более естественно, что, зная это, она срабатывает автоматически.

Философ, ударив Щеголя, осторожно отступил назад и вытянулся по стойке «смирно», держа на караул обрызгенную и замусоленную индюшачью ножку.

Красивая Стерва захлопала в ладоши и воскликнула:

— Теперь вы должны драться на дуэли!

— Вы попали в самую точку, мисс, — сказал Философ, не меняя позы. — Для этого-то я его и ударил.

Капли гусиного жира медленно стекали с его парядного жильты, но по выражению его лица и осанке никто бы не усомнился в том, что сам он считает себя одетым безупречно.

— Надо было бросить перчатку, — пазидательным тоном сказал Приличный Молодой Человек.

— У меня нет перчаток, сэр, — честно признался Философ в том, что было очевидно каждому.

— Но ведь это ужасно неприлично, — гнул свое Приличный Молодой Человек.

Усатый Злодей откинул полы пиджака и из задних карманов брюк вытащил два пистолета.

— Я их всегда ношу с собой, — с плотоядной ухмылкой сообщил он. — На такой вот случай.

«Мы должны как-то разрядить обстановку», — подумал Лодж. — Необходимо умерить их агрессивность. Нельзя допустить, чтобы они распалились еще больше».

И он вложил в уста Щеголя следующую реплику:

— Я те скажу вот что. Не по душе мне это баловство с огнестрельным оружием. Ненароком кого и подстрелить можно.

— От дуэли тебе не отвертеться, — заявил кровожадный Злодей, держа оба пистолета в одной руке, а другой теребя усы.

— Право выбора оружия принадлежит Щеголю, — вмешался Приличный Молодой Человек. — Как лицу, которому было нанесено оскорбление...

Красивая Стерва перестала хлопать в ладоши.

— А ты не лезь не в свое дело! — завизжала она. — Мозглик несчастный, маменькин сынок. Да ты просто не хочешь, чтобы они дрались.

Злодей отвесил поклон.

— Право выбора оружия принадлежит Щеголю, — объявил он.

— Вот смехотура! — прорицала Прелеститель Внеземной Дружественной Цивилизации. — До чего же все люди забавные.

Из-за дерева выглянула голова Инопланетного Чудовища.

— Оставь их в покое, — проревело оно со своим противным акцентом. — Если им захотелось подраться, пусть дерутся.

Засунув в пасть кончик хвоста, оно запросто свернулось в колесо и покатилось. С бешеною скоростью оно промчалось вокруг пруда, не переставая бубнить:

— Пусть дерутся, пусть дерутся, пусть дерутся...

И снова быстро спряталось за дерево.

— А мне-то казалось, что это пикник, — жалобно проговорила Беззащитная Сиротка.

«Мы все так считали», — подумал Лодж.

Хотя еще до начала представления можно было голову дать на отсечение, что пикник долго не продержится.

— Будьте добры, выберите оружие, — с преувеличенной любезностью обратился Злодей к Щеголю. — Пистолеты, ножи, мечи, боевые топоры...

«Что-нибудь смешное, — подумал Лодж. — Нужно предложить что-нибудь смешное и несуразное».

И он заставил Щеголя произнести:

— Пилы. На расстоянии трех шагов.

На экран, мурлыкая застольную песню, выпорхнула Прелестная Девушка. Судя по ее возбужденному виду, она уже успела прилично нагрузиться.

Но, увидев Философа, с жилета которого стекал гусиный жир, Злодея, сжимавшего в каждой руке по пистолету, и Красивую Стерву, позванившую бриллиантовым ожерельем, она остановилась как вкопанная и спросила:

— Что здесь происходит?



Нищий Философ наконец расстался со стойкой «смирно» и с самодовольной улыбкой удовлетворенно потер руки.

— Какая приятная, душевная обстановка! — радостно воскликнул он, источая братскую любовь к окружающим. — Наконец-то мы, все девять, в сборо...

Сидевшая в зрительном зале Элис Пейдж вскочила с места, схватилась руками за голову, сжала ладонями виски и, зажмурившись, истерически вскрикнула.

На экране было не восемь персонажей, а девять.

Персонаж Генри Грифиса участвовал в представлении направне с остальными.

— Вы сошли с ума, Бэйядр, — сказал Форестер. — Если человек умер, значит он мертв. Не берусь судить, полностью ли прекращается со смертью его существование, но если, умерев, человек все-таки продолжает существовать, то уже на другом уровне, в другой плоскости, в другом состоянии, в другом измерении. Пусть теологи или там спиритуалисты пользуются какой угодно терминологией, ответ на этот вопрос у всех один.

Лодж кивнул в знак согласия.

— Я хватался за соломинки. Перебирал все возможные варианты. Я знаю, что Генри умер. Я знаю, что мертвые не оживают. И тем не менее вы должны согласиться, что это естественно, если при таких обстоятельствах в голову лезут самые невероятные мысли. Почему вскрикнула Элис? Вовсе не потому, что на экране было девять персонажей, а из-за того, по какой причине могло так получиться. Нелегко нам до конца избавиться от суеверий — очень уж они живучи.

— Это относится не только к Элис, — сказал Форестер. — С остальными происходит то же самое. Если мы сейчас пустим дело на самотек, неминуем взрыв. Ведь к тому моменту, когда это произошло, они уже находились в состоянии крайнего первого напряжения: тут и сомнения в целесообразности и возможности решения проблемы, над которой они давно и безуспешно бьются, и разного рода конфликты и неурядицы, неизбежные в условиях, когда девять человек на протяжении долгих месяцев живут и работают бок о бок, да плюс ко всему еще невроз типа клаустрофобии*. И все это день ото дня нарастало и обострялось. Я наблюдал этот разрушительный процесс затаив дыхание.

— Предположим, что среди нас нашелся какой-то шутник, который подменил Генри, — проговорил Лодж. — Что вы на это скажете? Вдруг кто-то из них управлял не только своим персонажем, но и персонажем Генри, а?

— Человек не способен управлять более чем одним персонажем, — возразил Форестер.

— Но кто-то выщупстил в пруд кита.

— Правильно. Однако этот кит быстро исчез. Подпрыгнул разок-другой, и его не стало. Тому, кто его создал, было не под силу продержать его на экране подольше.

* Клаустрофобия — болезненный страх находиться в закрытом помещении.

— Декорации и реквизит мы придумываем сообща. Почему же кто-нибудь из нас не может незаметно для других уклониться от оформления Спектакля и сконцентрировать все свои мысли на двух персонажах?

На лице Форестера отразилось сомнение.

— Пожалуй, в принципе такое возможно. Но тогда второй персонаж почти обязательно получился бы дефектным. А вы заметили в каком-нибудь из персонажей хоть малейшую странность?

— Не знаю насчет странности, — ответил Лодж, — по Инопланетное Чудовище пряталось...

— Это не персонаж Генри.

— Откуда у вас такая уверенность?

— Генри был человеком не того склада, чтобы сделать своим персонажем Инопланетное Чудовище.

— Хорошо, допустим. Какой же тогда персонаж принадлежит ему?

Форестер раздраженно шлепнул ладонью по подлокотнику кресла.

— Ведь я уже говорил вам, Бэйяд, что не знаю, кто из них стоит за тем или иным действующим лицом Спектакля. Я пытался каждому подобрать пару определенный персонаж, но безуспешно.

— Если бы мы знали, насколько легче было бы решить эту загадку. В особенности...

— В особенности если б нам было известно, какой из персонажей принадлежал Генри, — докончил Форестер.

Он встал с кресла и зашагал по кабинету.

— Ваше предположение относительно какого-то шутника, который якобы вывел на экран персонаж Генри, имеет одно слабое место, — сказал он. — Ну посудите сами, откуда этот мифический шутник мог знать, какой ему нужно создать персонаж.

Лодж стукнул кулаком по столу.

— Прелестная Девушка! — вскричал он.

— Что?

— Прелестная Девушка. Она ведь появилась на экране последней. Неужели не помните? Усатый Злодей спросил, где она, а Деревенский Щеголь ответил, что видел ее в салуне...

— Господи! — выдохнул Форестер. — А Ницкий Философ поспешил объявить, что все паконец в сборе. Причем с явной издевкой! Будто хотел над нами поглумиться!

— Вы считаете, что это работа того, кто стоит за Философом? Если так, то он — тот самый предполагаемый шутник. Они вывели на экран девятого члена труппы — Прелестную Девушку. Разве вы не понимаете, что девятый персонаж, появившийся последним, персонаж Генри? Ведь если на экране собралось восемь действующих лиц, ясно, что отсутствующее — девятое — и есть его персонаж.

— Либо это и вправду чья-то проделка, — сказал Форестер, — либо персонажи по неизвестной нам причине стали в какой-то степени чувствовать, мыслить самостоятельно, частично ожили.

Лодж нахмурился.

— Такая версия не для меня, Кент. Персонажи — это мысленные образы. Мы создаем их в своем воображении, провеваем, поскольку они соответствуют своему назначению, оцениваем, а если они нас не устраивают, вытесняем их из сознания, и их как не бывало. Они полностью зависят от нас. Их личности неотделимы от наших. Они не более чем плоды нашей фантазии.

— Вы не совсем правильно поняли меня, — возразил Форестер. — Я имел в виду машину. Она вбирает в себя наши мысли и из этого сырья создает зримые образы. Трансформирует игру воображения в кажущуюся реальность...

— А память?

— Думаю, что такая машина вполне может обладать памятью, — сказал Форестер. — Видит бог, она собрана из предостаточного количества разнообразной точной аппаратуры, чтобы быть почти универсальной. Ее роль в создании Спектакля значительней, чем наша: большая часть работы лежит на ней, а не на нас. В конце концов, мы ведь все те же простые смертные, какими были всегда. Только что интеллект у нас выше, чем у наших предков. Мы строим для себя механические приладки, которые расширяют наши возможности. Вроде этой машины, расширяющей возможности нальего мышления.

— Не знаю, что вам на это сказать, — произнес Лодж. — Право, не знаю. Я устал от этого переливания из пустого в порожнее. От бесконечных рассуждений и домыслов.

Но про себя подумал, что на самом-то деле ему есть что сказать. Он знал, что машина способна действовать самостоятельно — заставила же она Щеголя запустить гусем в Философа. Впрочем, то была чисто автоматическая реакция, и она ровно ничего не значит.

Или он ошибается?

— Машина могла выпустить на экран персонаж Генри, — убежденно заявил Форестер. — Могла заставить Философа над нами поиздеваться.

— Но с какой целью? — спросил Лодж, уже зная наперед, почему машина, обладай она самостоятельностью, поступила бы именно так, и у него по телу забегали мурашки.

— Чтобы дать нам понять, — ответил Форестер, — что она тоже чувствует и мыслит.

— Никогда б она на это не решилась, — возразил Лодж. — Если б у нее появилось такое качество, она держала бы его в тайне. В этом ее единственная запита. Мы ведь можем ее уничтожить. И скорей всего так бы и сделали, если б нам показалось, что она ожила. Мы бы ее демонтировали, разобрали на составные части, разрушили.

Между ними залегло молчание, и в наступившей тишине Лодж почувствовал, что все вокруг пронизано ужасом, но ужасом не обычным: в нем слилось смятение мыслей и чувств, внезапная смерть одного из них, лишний персонаж на экране, жизнь под состоянием надзора, безысходное одиночество.

— У меня больше голова не варит, — произнес он. — Поговорим завтра. Утро вечера мудрее.

— О'кэй, — согласился Форестер.

— Хотите чего-нибудь выпить?

Форестер отрицательно покачал головой.
«Ему тоже больше невмоготу разговаривать, — подумал Лодж. — Он рад поскорее уйти.

Как раненое животное. Мы все, как раненые животные, располагаемся по своим углам, чтобы оставаться в одиночестве; нас тошнит друг от друга, для нас отрава — постоянно видеть за обеденным столом и встречать в коридорах одни и те же лица, смотреть на одни и те же рты, повторяющие одни и те же бессмысленные фразы, так что теперь, столкнувшись с обладателем какого-нибудь определенного рта, уже знаешь заранее, что он скажет».

— Спокойной ночи, Бэйядр.

— Спокойной ночи, Кент. Крепкого вам сна.

— Увидимся завтра.

— Разумеется.

Дверь тихо закрылась.

Спокойной ночи. Крепко спите.
Укусит клоп — его давите.

После завтрака все они собрались в гостиной, и Лодж, переводя взгляд с одного лица на другое, понял, что под их внешним спокойствием скрывается непередаваемый ужас; он почувствовал, как беззвучным криком исходят их души, одетые в непроницаемую броню выдержки и железной дисциплины.

Кент Форестер не спеша, старательно прикурил от зажигалки и заговорил небрежным будничным тоном, словно бы между прочим, но Лодж, наблюдая за ним, отлично сознавал, чего стоило Кенту такое самообладание.

— Нельзя допустить, чтобы это вконец разъело нас изнутри, — произнес Форестер. — Мы должны выговориться, поделиться друг с другом своими переживаниями.

— Иными словами — подыскать этому происшествию разумное объяснение? — спросил Сиффорд.

— Я сказал «выговориться». Это тот случай, когда самообман исключается.

— Вчера на экране было девять персонажей, — произнес Крейвен.

— И кит, — добавил Форестер.

— Вы считаете, что один из...

— Не знаю. Если это проделал кто-то из нас, пусть он или она честно признаются. Ведь все мы способны понять и оценить шутку.

— Шутка не из приятных, — заметил Крейвен.

— Это уже другой вопрос, — сказал Форестер.

— Если бы я узнал, что это просто мистификация, у меня бы камень с души упал, — проговорил Мэйтленд.

— То-то и оно, — подхватил Форестер. — Именно это я и хотел бы выяснить. — И немного погодя спросил:

— У кого-нибудь из вас есть что сказать?

Ни один из присутствующих не проронил ни слова.

Молчание затянулось.

— Никто не признается, Кент, — сказал Лодж.

— Предположим, что этот горе-шутник хочет сохранить инкогнито, — проговорил Форестер. — Желание вполне понятное при таких обстоятельствах. Тогда, может быть, стоит раздать всем по листку бумаги?

— Раздавайте, — проворчал Сиффорд.

Форестер вытащил из кармана сложенные пополам листы бумаги и, аккуратно разорвав на одинаковые кусочки, раздал присутствующим.

— Если кто-то из вас отколол вчера такой номер, ради всего святого, дайте нам знать, — взмолился Лодж.

Листки вернулись к Форестеру. На некоторых было написано «Нет», на других — «Какие уж тут шутки», а на одном — «Я тут ни при чем».

Форестер сложил листки в пачку.

— Что ж, значит, эта идея себя не оправдала, — произнес он. — Впрочем, должен признаться, что я не возлагал на нее особых надежд.

Крейвен тяжело поднялся со стула.

— Нам всем не дает покоя одна мысль, — проговорил он. — Так почему же не высказать ее вслух?

Он умолк и с вызовом посмотрел на остальных, словно давая понять, что им не удастся его остановить.

— Генри здесь недолюбливали, — сказал он. — Не вздумайте это отрицать. Человек он был жесткий, трудный. Трудный во всех отношениях — такие не пользуются расположением окружающих. Я сблизился с ним больше, чем остальные члены нашей группы. И я охотно согласился сказать в его память несколько слов на сегодняшней панихиде, потому что, несмотря на трудность своего характера, Генри был достоин уважения. Он обладал такой твердой волей и упорством, какие редко встретишь даже у подобных личностей. Но на душе у него было неспокойно, его мучили сомнения, о которых никто из нас не догадывался. Иногда в наших с ним кратких беседах его прорывало, и он говорил со мной откровенно — по-настоящему откровенно, как никогда не говорил ни с кем из вас.

Генри стоял на пороге какого-то открытия. Его охватил панический страх. И он умер. А ведь он был совершенно здоров.

Крейвен взглянул на Сью Лоуренс.

— Может, я ошибаюсь, Сьюзен? — спросил он. — Скажите, был он чем-нибудь болен?

— Нет, он был здоров, — ответила доктор Сьюзен Лоуренс. — Он не должен был умереть.

Крейвен повернулся к Лоджу.

— Он недавно беседовал с вами, правильно?

— Два дня назад, — сказал Лодж. — На вид он казался таким же, как всегда.

— О чем он говорил с вами?

— Да, собственно, ни о чем особенном. О делах второстепенной важности.

— О делах второстепенной важности? — язвительно спросил Крейвен.

— Ну ладно. Если вам угодно, извольте, я могу уточнить.

Он говорил о том, что не хочет продолжать свои исследования. Назвал нашу работу дьявольским наваждением. Именно так он и выразился: «дьявольское наваждение».

Лодж обвел взглядом сидевших в комнате людей.

— Дьявольское наваждение. А ведь никто из вас не додумался до такого определения.

— Он говорил с вами настойчивей, чем прежде?

— Мне не с чем сравнивать, — ответил Лодж. — Дело в том, что на эту тему он беседовал со мной впервые. Пожалуй, из всех, кто здесь работает, один он до того дня никогда ни при каких обстоятельствах в разговоре со мной не затрагивал этого вопроса.

— И вы уговорили его продолжить работу?

— Мы обсудили его точку зрения.

— Вы его убили!

— Возможно, — сказал Лодж. — Возможно, я убиваю вас всех. Или же каждый из нас убивает себя сам. Почем я знаю?

Он повернулся к доктору Лоуренс.

— Сью, может человек умереть от психосоматического заболевания, вызванного страхом?

— По клинике заболевания — нет, — ответила Сьюзен Лоуренс. — А если исходить из практики, то боюсь, что придется ответить утвердительно.

— Он попал в ловушку, — заявил Крейвен.

— Вместе со всем человечеством, — в сердцах обрезал его Лодж. — Если вам не терпится размять свой указательный палец, направьте его по очереди на каждого из нас. На все человеческое общество.

— По-моему, это не имеет отношения к тому, что нас сейчас интересует, — вмешался Форестер.

— Напротив, — возразил Крейвен. — И объясню почему. Из всех людей я последним поверил бы в существование призраков...

Элис Пейдж вскочила на ноги.

— Замолчите! — крикнула она. — Замолчите! Замолчите!

— Успокойтесь, мисс Пейдж, — попросил Крейвен.

— Но вы же сказали...

— Я говорю о том, что, если допустить такую возможность, здесь у нас сложилась именно та ситуация, в которой у духа, покинувшего тело, был бы повод и, я бы даже сказал, право посетить место, где его тело постигла смерть.

— Садитесь, Крейвен! — приказал Лодж.

Крейвен в нерешительности помедлил и сел, злобно буркнув что-то себе под нос.

— Если вы видите какой-то смысл в дальнейшем обсуждении этого вопроса, — произнес Лодж, — настоятельно прошу оставить в покое мистику.

— Мне кажется, здесь печего обсуждать, — сказал Мэйтленд. — Как ученые, посвятившие себя поискам первопричины возникновения жизни, мы должны понимать, что смерть есть абсолютный конец всех жизненных явлений.

— Вы отлично знаете, что это еще нужно доказать, — возразил Сиффорд.

Тут вмешался Форестер.

— Давайте-ка оставим эту тему, — решительно сказал он. — Мы можем вернуться к ней позже. А сейчас поговорим о другом. — И торопливо добавил: — Нам нужно выяснить кое-что еще. Скажите, кто-нибудь из вас знает, какой персонаж принадлежал Генри?

Молчание.

— Речь идет не о том, чтобы установить тождество каждого из участников Спектакля с определенным персонажем, — пояснил Форестер. — Но методом исключения...

— Хорошо, — сказал Сиффорд. — Раздайте еще раз ваши листки.

Форестер вытащил из кармана оставшуюся бумагу и снова принялся рвать ее на небольшие кусочки.

— К черту эти ваши липовые бумажки! — взорвался Крейвен. — Меня на такой крючок не поймаешь.

Форестер поднял взгляд с подготовленных листков на Крейвена.

— Крючок?

— А то нет, — вызывающим тоном ответил Крейвен. — Если уж говорить начистоту, разве вы все время не пытаетесь до-знататься, кому какой принадлежит персонаж?

— Я этого не отрицаю, — заявил Форестер. — Я нарушил бы свой долг, если бы не пытался установить, кто из вас стоит за тем или иным персонажем.

— Меня удивляет, как тщательно мы это скрываем, — заговорил Лодж. — В нормальной обстановке подобное явление не имело бы значения, но мы здесь живем и работаем в очень сложных условиях. Мне думается, что, если бы каждый из нас перестал делать из этого тайну, всем нам стало бы намного легче существовать. Что до меня, то я охотно назову свой персонаж. Готов быть первым — вы только дайте команду.

Он замолчал и выжидающе посмотрел на остальных.

Команды не последовало.

Все они глядели на него в упор, и лица их были бесстрастны — они не выражали ни злобы, ни страха, ничего вообще...

Лодж пожал плечами, сбросив с них бремя неудачи.

— Ладно, оставим это, — произнес он, обращаясь к Крейвену. — Так о чем вы говорили?

— Я хотел сказать, что написать на листке бумаги имя персонажа — это все равно, что встать и произнести его вслух. Форестеру знаком почерк каждого из нас. Ему ничего не стоит опознать автора любой записи.

— У меня этого и в мыслях не было, — запротестовал Форестер. — Честное слово. Но, в общем-то, Крейвен прав.

— Что же вы предлагаете? — спросил Лодж.

— Списки типа избирательных бюллетеней для тайного голосования, — сказал Крейвен. — Нужно составить списки имен персонажей.

— А вы не боитесь, что мы сумеем опознать каждого по крестику, поставленному против его персонажа?

Крейвен взглянул на Лоджа.

— Раз уж вы об этом упомянули, значит нужно учесть и такую возможность, — невозмутимо произнес он.

— Внизу, в лаборатории, есть набор штемпелей, — устало сказал Форестер. — Для пометки образчиков препаратов. Среди них наверняка найдется штемпель с крестиком.

— Это вас устраивает? — спросил Лодж Крейвена.

Крейвен кивнул.

Лодж медленно поднялся со стула.

— Я схожу за штемпелем, — сказал он. — А в мое отсутствие вы можете подготовить списки.

«Вот дети, — подумал он. — Настоящие дети — все, как один. Настороженные, недоверчивые, эгоистичные, перепуганные насмерть, точно затравленные животные. Загнанные в тот угол, где стена страха смыкается со стеной комплекса вины; жертвы, попавшие в западню сомнений и неуверенности в себе».

Он спустился по металлическим ступенькам в помещение, отведенное для лаборатории, и, пока он шел, стук его каблуков эхом отдавался в тех невидимых углах, где притаились страх и муки совести.

«Если бы не внезапная смерть Генри, — подумал он, — быть может, все обошлось бы. И мы с грехом пополам все-таки довели бы работу до конца».

Но он знал, что шансов на это было крайне мало. Ведь если бы не умер Генри, обязательно нашелся бы какой-нибудь другой повод для взрыва. Они для этого созрели... более чем созрели. Уже несколько недель самое незначительное происшествие в любой момент могло поджечь фитиль.

Он нашел штемпель, пропитанную краской подушечку и тяжелыми шагами стал забираться вверх по лестнице.

На столе лежали списки персонажей. Кто-то принес коробку из-под обуви и прорезал в ее крышке щель, сделав из нее некое подобие урны для голосования.

— Мы все сядем в этой половине комнаты, — сказал Форестер.

— А потом будем по очереди вставать и голосовать.

И хотя при слове «голосовать» все недоуменно переглянулись, Форестер сделал вид, будто этого не заметил.

Лодж положил штемпель и подушечку с краской на стол, пересек комнату и сел на свой стул.

— Кто начнет? — спросил Форестер.

Никто не шелохнулся.

«Их пугает даже это», — подумал Лодж.

Первым вызвался Мэйтленд.

В гробовом молчании они по очереди подходили к столу, ставили на списках метки, складывали листки и опускали их в коробку. Пока один не возвращался, следующий не трогался с места.

Наконец с этим было покончено, и Форестер направился к столу, взял в руки коробку и, поворачивая ее то так, то эдак, с силой потряс, перемешивая находящиеся внутри нее листки, чтобы по порядку, в котором они вначале лежали, нельзя было догадаться, кому каждый из них принадлежит.

— Мне нужны двое для контроля, — сказал Форестер.

Он окинул взглядом присутствующих.

— Крейвен, — позвал он. — Сью.

Они встали и подошли к нему.

Форестер открыл коробку, вынул один листок, развернул его, прочел и отдал доктору Лоуренс, а та передала его Крейвену.

- Беззащитная Сиротка.
- Деревенский Щеголь.
- Инопланетное Чудовище.
- Красивая Стерва.
- Прелестная Девушка.

«Тут что-то не так, — подумал Лодж. — Только этот персонаж мог принадлежать Генри. Ведь Прелестная Девушка появилась на экране последней! Она же была девятой...»

Форестер продолжал разворачивать листки, произнося вслух имена отмеченных крестиком персонажей.

- Представитель Ипоземной Дружественной Цивилизации.
- Приличный Молодой Человек.

Остались непазванными два персонажа.

Только два. Нищий Философ и Усатый Злодей.

«Попробую угадать, — подумал Лодж. — Заключу пари с самим собой. Пари на то, который из них — персонаж Генри. Это Усатый Злодей».

Форестер развернул последний листок и прочел:

- Усатый Злодей.

«А пари-то я проиграл», — мелькнуло у Лоджа.

Он услышал, как остальные со свистом втянули в себя воздух, осознав, что значил результат этого «голосования».

Персонажем Генри оказалось главное действующее лицо вчерашнего представления — самое деятельное и самое энергичное: Философ.

Записи в блокноте Генри были предельно сжатыми, почерк перазборчив, а их отрывистость была под стать его характеру. Символы и уравнения поражали четкостью написания, но у букв был какой-то своеобразный, дерзкий наклон; лаконичность фраз граничила с грубостью, хотя трудно было представить, кого он хотел оскорбить, — разве что самого себя.

Мэйтленд захлопнул блокнот, оттолкнул его, и тот скользнул на середину стола.

— Ну вот, теперь мы знаем, — произнес он.

Они сидели совершенно неподвижные, с бледными, искаженными страхом лицами, как будто вконец расстроенный и подавленный Мэйтленд был тем самым призраком, на которого вчера намекнул Крейвен.

— С меня хватит! — взорвался Сиффорд. — Я больше не желаю...

— Что вы имеете в виду? — поинтересовался Лодж.

Сиффорд не ответил. Он сидел, положив на стол перед собой руки, и то с силой сжимал кулаки, то распрямлял пальцы и так их вытягивал, словно усилием воли пытался противовесственно вывернуть их и пригнуть к тыльной стороне кистей.

— Генри был душевнобольным, — отрывисто сказала Сью-



зен Лоуренс. — Только душевнобольной мог выдвинуть такую бредовую идею.

— От вас, как от врача, едва ли можно было ждать другой реакции, — заметил Мэйтленд.

— Я работаю во имя жизни, — заявила Сьюзен Лоуренс. — Я уважаю жизнь, и, пока организм жив, я до последнего мгновения всеми средствами оберегаю его и поддерживаю. Я испытываю глубокое сострадание ко всему живому.

— А мы разве относимся к этому иначе?

— Я только хочу сказать, что для того, чтобы по-настоящему понять, какое это чудо — жизнь, нужно себя полностью посвятить ей и всем своим существом проникнуться ее могуществом, величием и красотой...

— Но, Сьюзен...

— И я знаю, — поспешила продолжала она, не давая ему возразить, — я твердо знаю, что жизнь — это не распад и разложение материи, не ее одряхление, не болезнь. Признать жизнь проявлением крайнего истощения материи, последней ступенью деградации мертвой природы равносильно утверждению, что норма существования вселенной — это застой, отсутствие эволюции, разумной жизни и цели.

— Тут возникает путаница из-за семантики, — заметил Форестер. — Мы, живые существа, пользуемся определенными терминами, вкладывая в них свой специфический смысл, и мы не можем сопоставить их с терминами, имеющими единый смысл для всей вселенной, даже если бы мы их знали.

— А мы их, естественно, не знаем, — сказала Элен Грей. — Возможно, что в ваших соображениях есть зерно истины, особенно если выводы, к которым пришел Генри, соответствуют действительному положению вещей.

— Мы тщательно изучим записи Генри, — угрюмо сказал Лодж. — Мы шаг за шагом проследим весь ход его мыслей. Я лично считаю его идею ошибочной, но мы не можем так вот сразу отнести ее — кто знает, а вдруг он все-таки прав?

— Это вы к тому, что, даже если он окажется прав, наша работа не будет приостановлена? — так и заключотал Сиффорд. — Что для достижения поставленной перед нами цели вы собираетесь использовать даже такое унижающее человека открытие?

— Разумеется, — сказал Лодж. — Если жизнь в самом деле является симптомом заболевания и старческого одряхления материи, что ж, пусть так, с этим ничего не поделаешь. Как справедливо заметили Кент и Элен, смысл наших терминов очень специфичен и зависит от категорий, которыми мы мыслим. Почему нельзя допустить, что для вселенной смерть — это... это для нас жизнь? Если Генри прав, он открыл то, что существовало всегда, испокон веков.

— Вы не понимаете, что говорите! — вскричал Сиффорд.

— Ошибаетесь! — рявкнул Лодж. — У вас просто сдали нервы. У вас и у кое-кого из остальных. А может, и у меня тоже. Или у нас у всех. Нами завладел и правит страх; у вас это страх перед порученной вам работой, у меня — страх перед тем, что она не будет выполнена. Мы загнаны в тупик, мы расшибаем мозги о каменные стены своей совести и нрав-

ственных норм, которые мы полируем и начищаем до такого блеска, пока они вдруг не начинают сверкать, точно щит Галэхада. Будь вы сейчас на Земле, вы не стали бы так пережевывать эту идею. Возможно, вы поначалу слегка поперхнулись бы, но, докажи нам, что предположение Генри правильно, вы б его благополучно проглотили и продолжили бы поиски первопричины того заболевания и распада материи, которое мы зовем жизнью. А само открытие вы просто приняли бы к сведению, оно всего лишь расширило бы ваши знания, и только. Но, находясь здесь, вы бьетесь головой о стену и вопите от ужаса.

— Бэйядр! — вскричал Форестер. — Остановитесь! Вы не смеете.

— Смею, — огрызнулся Лодж. — И не остановлюсь. Меня тошнит от их хныканья и стенаний. Я устал от этих избалованных, распущеных фанатиков, которые довели себя до состояния фанатического исступления, заботливо вскармливая в себе надуманные, беспочвенные страхи. Чтобы справиться с нашей задачей, нужны мужчины и женщины, обладающие острым умом и твердой волей. Для такой работы требуются огромная смелость и высокоразвитый интеллект.

У Крейвена от ярости побелели губы.

— Но мы же работали! — выкрикнул он. — Даже тогда, когда против этого восставали все наши чувства, даже тогда, когда наше представление о порядочности, этике, наш рассудок и религиозный инстинкт призывали нас бросить эту работу, мы все-таки ее продолжали. И не обольщайтесь, что нас удерживали ваши сладкоречивые проповеди, шуточки, ободряющее похлопывание по плечу. Не обольщайтесь, что нас вдохновляло ваше фиглярство.

Форестер стукнул кулаком по столу.

— Прекратите этот спор! — потребовал он. — Перейдем к делу.

Крейвен, еще бледный от гнева, откинулся на спинку стула. Сиффорд продолжал сжимать и разжимать кулаки.

— В записях Генри сформулирован его вывод, — сказал Форестер. — Хотя вряд ли это можно считать выводом. Лучше назовем его заключение гипотезой. Как же, по-вашему, с ней быть? Не обратить на нее внимания, отмахнуться от нее или же все-таки проверить, насколько его предположение правильно?

— Я считаю, что его нужно проверить, — заявил Крейвен. — Эту гипотезу выдвинул Генри. А Генри умер и не может выступить в защиту своей идеи. Наш долг — взять на себя проверку правильности его предположения: уж это он заслужил.

— Если подобная гипотеза вообще поддается проверке, — заметил Мэйтленд. — Мне лично кажется, что это скорей относится к философии, чем к области конкретных наук.

— Философия идет рука об руку со всеми конкретными науками, — сказала Элис Пейдж. — Нельзя отказаться от проверки гипотезы Генри только потому, что она на первый взгляд представляется очень сложной.

— При чем тут сложность? — возразил Мэйтленд. — Я хотел

сказать... А, к черту все эти рассуждения, давайте лучше займемся ее проверкой.

— Согласен, — сказал Сиффорд.

Он быстро повернулся к Лоджу.

— Но если проверка даст положительные результаты или хоть какие-нибудь доказательства в пользу правильности этой гипотезы, если мы не сумеем ее полностью опровергнуть, я немедленно прекращаю работу. Предупреждаю вас совершенно официально.

— Это ваше право, Сиффорд. Можете пользоваться им в любое угодное вам время.

— Возможно, что будет одинаково трудно доказать как правильность этой идеи, так и ее ошибочность, — произнесла Элен Грей. — Пожалуй, опровергнуть ее не легче, чем подтвердить.

Лодж поймал на себе взгляд Сьюзен Лоуренс — она мрачно улыбалась, и на ее лице было написано невольное восхищение с оттенком цинизма, словно она в этот момент говорила ему:

«Вот вы и снова добились своего. Я не думала, что на сей раз вам это удастся. Право, не думала. Но, как видите, ошиблась. Однако вы не вечно будете обводить нас вокруг пальца. Придет время...»

— Хотите пари? — шепотом спросил он ее.

— На цинистский калий, — ответила она.

Лодж рассмеялся, хотя знал, что она права — права даже больше, чем ей кажется. Ибо это время уже пришло, и Спецгруппа № 3 под кодовым названием «Жизнь» фактически перестала существовать. Вызов, который им бросил Генри Грифис своими записями в блокноте, подстегнул их, задел за живое, и они будут работать дальше, будут, как прежде, добросовестно исполнять свои рабочие обязанности. Но их творческий пыл угас безвозвратно, потому что в души их слишком глубоко въелись страх и предубеждение, а мысли их спутались в такой клубок, что они почти полностью утратили способность к здравому восприятию действительности.

«Если Генри Грифис стремился сорвать выполнение программы, — подумал Лодж, — он с успехом достиг своей цели. Мертвому ему удалось это куда лучше, чем если бы он занимался этим живой».

Ему вдруг показалось, будто он слышит неприятный жесткий смешок Генри, и он в недоумении пожал плечами — у Генри начисто отсутствовало чувство юмора.

Несмотря на то, что он оказался Ниццим Философом, крайне трудно было отождествить его с таким персонажем — старым изолгавшимся хвастуном с изысканными манерами и высокопарной речью. Ведь сам Генри никогда не лгал и не бахвалился, манеры его отнюдь не отличались изяществом, и он не обладал даром красноречия. Он был неловок, молчалив, а когда ему нужно было что-нибудь сказать, говорил отрывисто, ворчливо.

«Ну и пасквилянт, — подумал Лодж, — неужели он все-таки был совсем другим, чем казался?»

Что, если он с помощью своего персонажа — Философа —

высмеивал их, издевался над ними, а они этого даже не подозревали?

Лодж потряс головой, мысленно споря с самим собой.

Если предположить, что Философ издевался над ними, то делал это очень тонко, так тонко, что ни один из них этого не почувствовал, так искусно, что это никого не задело.

Но самое страшное заключалось не в том, что Генри мог исподтишка делать из них посмешище. Внушало ужас другое — то, что Философ появился на экране вторым. Он вышел вслед за Деревенским Щеголем и, пока длилось представление, все время был в центре внимания, со смаком поедая индюшачью ножку и дирижируя ею в такт своей выспринной речи, которой он поливал слушателей, как автоматной очередью. Если же вдуматься как следует, то на деле получалось, что Философ вообще был самым значительным и активным действующим лицом всего Спектакля.

Из этого следовало, что вчера ни один из них не мог экспромтом создать его и выпустить на экран по той простой причине, что, во-первых, никому не удалось бы так быстро догадаться, какой из персонажей принадлежал Генри, а во-вторых, никто, создав этот персонаж впервые, не сумел бы вчера так ловко им управлять. И никто из тех, кто вывел своих персонажей на экран в начале представления, не смог бы одновременно управлять двумя действующими лицами с такой споровкой, чтобы они оба сохранили все свои характерные черты, тем более если принять во внимание, что Философ разглагольствовал без умолку.

А это снимало подозрение, по крайней мере, с четырех участников вчерашнего представления.

И могло означать:

либо то, что среди них присутствовал призрак;

либо то, что, обладая памятью, персонаж Генри создала сама машина;

либо то, что они — все восемь — стали жертвой массовой галлюцинации.

Последнее предположение быстро отпало. За ним последовали первое и второе. Ни одно из трех не выдерживало никакой критики. И вообще все, что здесь происходило, казалось абсолютно необъяснимым.

Представьте группу высококвалифицированных ученых, воспитанных в духе материалистического подхода к действительности, скептицизма и нетерпимости ко всему, что отдает душком мистицизма, ученых, нацеленных на изучение фактов, и только фактов. Что может привести к распаду такого коллектива? Не клаустрофobia, развившаяся в результате длительной изоляции на этом астероиде. Не постоянные угрызения совести, причина которых — в неспособности вырваться из плена прочно укоренившихся этических норм. Не атавистический страх перед призраками. Все это было бы слишком просто.

Тут действовал какой-то другой фактор. Другой, неизвестный фактор, мысль о котором еще никому не приходила в голову, подобно тому как никто пока не задумывался о новом подходе к решению поставленной перед ним задачи. Тот самом новом подходе, о котором упомянул за обедом Мэйтленд, сказав, что

для пропикновения в тайну первопричины жизненных явлений им следовало бы подступиться к этой проблеме с какой-то другой стороны. «Мы на ложном пути, — сказал тогда Мэйтленд. — Нам необходимо найти новый подход».

И Мэйтленд, несомненно, имел в виду, что для их исследования более не годятся старые методы, цель которых — поиск, накопления и анализ фактического материала; что научное мышление в течение длительного периода времени работало в одной-единственной, теперь уже порядком истертой колее устаревших категорий и не ведало иных путей к познанию. Поэтому, чтобы открыть первопричину жизненных явлений, они должны взглянуть на эту проблему с какой-то другой, принципиально новой точки зрения.

«Не Генри ли подал им идею такого подхода? — мелькнула у Лоджа мысль. — А может, сделав это и уйдя из жизни, он тем самым вдобавок еще и разрушил их группу?»

Спектакль! Вдруг осенило его. Может, этим фактором был Спектакль? Что, если игра в Спектакль, которая, по замыслу, должна была сплотить членов группы и помочь им сохранить здравый рассудок, по какой-то непонятной пока причине превратилась в обоюдоострый меч?»

Они начали вставать из-за стола, чтобы разойтись по своим комнатам и переодеться к обеду. А после обеда... опять Спектакль.

«Привычка», — подумал Лодж. Даже сейчас, когда все полетело к чертям, они оставались рабами привычки.

Они переоденутся к обеду; они будут играть в Спектакль. А завтра утром они спустятся в свои лаборатории и снова примутся за работу, но их труд был непродуктивным, потому что цель, для достижения которой они отдали все свои профессиональные знания, перестала для них существовать, испепеленная страхом, раздирающими душу противоречиями, смертью одного из них, призраками.

Кто-то тронул его за локоть, и Лодж увидел, что рядом стоит Форестер.

— Ну что, Кент?

— Как себя чувствуете?

— Нормально, — ответил Лодж и, немного помолчав, произнес: — Вы, безусловно, понимаете, что это конец?

— Мы еще поборемся, — заявил Форестер.

Лодж покачал головой.

— Разве что вы — вы ведь моложе меня. А на меня не рассчитывайте — я сгорел вместе с остальными.

Представление началось с того, на чем оно прервалось накануне. Все персонажи на экране, появляется Прелестная Девушка, а Ницкий Философ, самодовольно потирая руки, произносит:

— Что за душевная обстановка. Наконец-то мы все в сборе.

Прелестная Девушка (не очень твердо держась на погах):

— Послушайте, Философ, я сама знаю, что опоздала, и пеза-

чем это подчеркивать, да еще в такой странной форме! Само собой разумеется, что мы здесь собрались всей компанией. А я... ну, меня задержали крайне важные обстоятельства.

Деревенский Щеголь (в сторону, с крестьянской хитрой): «Том Коллинз»* и игральный автомат.

Инопланетное Чудовище (высунув голову из-за дерева): Тск хростлиги вглатер, тск...

«А ведь с представлением что-то неладное», — вдруг подумал Лодж.

В нем явно был какой-то дефект, неправильность, нечто до ужаса чужое и неприличное, такое, от чего пробирает дрожь, даже если это новое чуждое качество не поддается определению.

Неладное творилось с Философом, причем беспокоило вовсе не его присутствие на экране, а что-то совершенно другое, необъяснимое. Странно измененными казались Прелестная Девушка, Приличный Молодой Человек, Красивая Стерва и все, все остальные.

Резко переменился Деревенский Щеголь, а уж он-то, Бэйярд Лодж, знал Деревенского Щеголя как облуцленного — знал каждую извилину его мозга, знал его мысли, мечты, тайные желания, его грубоватое тщеславие, нахальную манеру посмеиваться над окружающими, жгучее чувство неполноценности, которое побуждало его во имя самоутверждения заниматься восхвалением собственной персоны.

Словом, он знал его, как каждый из зрителей должен был знать свой персонаж, воспринимал его как что-то более значимое, чем образ, созданный в воображении: знал его лучше, чем любого другого человека, чем самого близкого друга. Ибо они были связаны теми единственными в своем роде узами, которые связывают творца с его творением.

А в этот вечер Деревенский Щеголь заметно отдалился от него, словно бы обрезал невидимые веревочки, с помощью которых им управляли, обрел некую самостоятельность, и в этой самостоятельности уже пробивались первые ростки полной независимости.

До Лоджа донеслись слова Философа:

— Но я никак не мог обойти молчанием тот факт, что мы здесь собирались в полном составе. Ведь один из нас умер...

В зрительном зале — ни шумного вздоха, ни шороха, никто даже не вздрогнул, но чувствовалось, как все напряглись, словно туго натянутые скрипичные струны.

— Мы — это совесть, — произнес Усатый Злодей. — Отраженная совесть, принявшая наш облик и играющая наши роли...

— Совесть человечества, — сказал Деревенский Щеголь.

Лодж невольно привстал.

«Я ведь не велел ему произносить эту фразу! Он сделал это по собственному почину, без моего приказа. У меня просто возникла такая мысль, вот и все. Боже милостивый, я же только подумал об этом, только подумал!»

* «Том Коллинз» — название прохладительного напитка, в состав которого входит джин. (Прим. перев.)

Теперь-то он знал причину необычности сегодняшнего представления. Наконец он понял, в чем странность персонажей.

Они были не на экране! Они стояли на сцене, на узких подмостках, что тянулись перед экраном!

Они уже не спроектированные на экран воображаемые образы, а существа из плоти и крови. Созданные мыслью марионетки, которые внезапно ожили.

Он похолодел, похолодел и замер, вдруг со всей ясностью осознав, что одной лишь силой мысли — силой мысли в сочетании с таинственными и безграничными возможностями электроники — Человек сотворил Жизнь.

«Новый подход», — сказал тогда Мэйтленд.

«О господи! Новый подход!»

Они потерпели неудачу, неудачу в работе и одержали поразительную победу, играя в часы досуга, и отныне отпадет необходимость в особых группах ученых, ведущих исследования в той мрачной области, где живое незаметно переходит в мертвое, а мертвое — в живое. Ведь для того, чтобы создать человеко-чудовище, достаточно будет сесть перед экраном и вымысить его — кость за костью, волос за волосом, его мозг, внутренности, особые свойства организма и все прочее. Так появятся на свет миллионы чудовищ для заселения тех планет. И эти монстры будут людьми, потому что по их заранее разработанным проектам сотворят их братья по разуму, человеческие существа.

Близится минута, когда персонажи спустятся со сцены в зал и смеются со зрителями. Как же поведут себя их творцы? Обезумеют от ужаса, дико завопят, впадут в буйное помешательство?

Что он, Лодж, скажет Деревенскому Щеголю?

Что он вообще может сказать ему?

И — а это куда важней — о чем заговорит с ним сам Щеголь?

Лодж был не в силах шевельнуться, не мог вымолвить ни слова или хотя бы криком предостеречь остальных. Он сидел как каменный в ожидании того момента, когда они спустятся в зал.

Перевела с английского С. ВАСИЛЬЕВА
